

21.54  
960

1960

ДЕНЬ

ПОЭЗИИ



Д. 34.

# ДЕНЬ ПОЭЗИИ

•  
СОВЕТСКИЙ  
ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА

1960

06.337.975



ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МАЙОРОВА

Кто-то сказал о встречах военных лет: «И незабываемое забывается». Это невольно, но правда. Однако правда и другое: когда незабываемое вспоминается, оно оживает для нас во всей своей первоначальной цельности. Это оттого, что оно тайно живет в наших душах, не изменяясь с годами. Завершенное, оно уже не может измениться.

Скоро двадцать лет, как университетские друзья Николая Майорова с ним не виделись. Исправить тут никто ничего не сумел бы. Этому сроку предстоит только увеличиваться. Но законы перспективы, ненарушимые в пространстве, к счастью, могут нарушаться во времени. Отдаляясь, образ Коли Майорова не уменьшается и не тускнеет. А то, что стирается в памяти, наверное, никогда и не было существенным.

Во все времена повторяется одно и то же: молодые поэты, ищущие себя и жаждущие понимания, находят других, таких же ищущих и жаждущих, по незримому и неслышному пеленгу, который неведом посторонним. (Так в человеческом водовороте столицы любые коллекционеры каким-то образом вылавливают себе подобных — по случайному слову, что ли, по жесту, по оценивающему взгляду?..) Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена собралась на первое регулярное занятие студенческая литгруппа, Коля Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И все уже что-то знали друг о друге. Помню, как из разных углов раздались уверенные голоса:

— Пусть почитает Майоров, истфак!

И он встал где-то сбоку, этот «Майоров, истфак», и начал читать. Крепко стиснутым кулаком он словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую

дорогу через обвалы строф. И сразу стало очевидно — это будет «первая ракетка» в поэтической команде университета.

Так оно и было до самой войны.

Не для традиционного сопоставления скромности и таланта сказал я, что Николай Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Просто захотелось вспомнить, как он выглядел — каким показался... Он поразительно не был похож на поэта, как не был похож на «служителя муз» Николай Заболоцкий. Ничего завидного во внешности — ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего. (Швейцары в гостиницах — вот из кого вербоваться бы академикам, полководцам, поэтам!..) Может быть, это экономная природа не наделяет настоящее достоинство лишними одеждами? Они ведь ему не нужны... Впрочем, это сомнительный закон — слишком много из него исключений. Но Коля Майоров был выразительнейшим его подтверждением.

Нет, он не был скромнен:

Есть в голосе моем звучание металла.  
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.

Он знал, что он — поэт. И, готовясь стать историком, прежде всего утверждал себя как поэт. У него было на это право.

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксера. Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии был резко определен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь...



Так он и сам старался писать свои стихи — земные, прочные, годные для дальних перелетов.

...Я полюбил весомые слова.

Он полюбил их, когда было ему около двадцати. А в двадцать три его уже не стало. Он успел сделать немного: его литературное наследство — это сто страниц, три тысячи строк. Но все, что он считал законченным, — настоящее. Он был весь обещание. И не потому только, что природа дала ему талант, а воспитание — трудоспособность. Он очень рано осознал себя поэтом своего поколения — глашатаям того предвоенного поколения, которое пришло к поре начинающейся зрелости в конце 30-х годов. Он чувствовал себя тем «шалым трубочом», о котором прекрасно написал в стихотворении «Мы»:

...Мы были высоки, русоволосы.  
Вы в книгах прочтаете, как миф,  
о людях, что ушли, не долюбив,  
не докурив последней папиросы.  
Когда б не бой, не вечные исканья  
крутых путей к последней высоте,  
мы б сохранились в бронзовых ваяньях,  
в столбцах газет, в набросках на холсте.  
Но время шло. Меняли реки русла.  
И жили мы, не тратя лишних слов,  
чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных  
да в серой прозе наших дневников.  
...Мы шли вперед, и падали, и, еле  
в обмотках грубых ноги волоча,

мы видели, как женщины глядели  
на нашего шального трубача.  
А он трубил...

Это написано до войны. И это написано поэтом, который недаром хотел стать историком. Он уже был им — историком без диплома, историком не столько по образованию, сколько по чувству и предчувствию времени.

Еще меньше, чем на поэта, Николай Майоров был похож на плакатного героя. Но и героем он стал таким же, как и поэтом, — настоящим. Он умер, как сам предсказал, — в бою.

Мальчик, родившийся в девятнадцатом году под Иваново-Вознесенском, погиб совсем еще юношей в сорок втором под Смоленском. Доброволец-разведчик погиб, не докурив последней папиросы, не дописав последнего стихотворения, не долюбив, не дождавшись книги своих стихов, не окончив университета, не доучившись в литературном институте, не раскрыв всех возможностей, какие сам в себе прозревал... Все в его жизни осталось незавершенным, кроме ее самой. Но стихи его, сработанные для дальнего полета, продолжают свой рейс: у них сильные крылья — такие, как он хотел.

Уходя, он точно предупредил, что останется неотъемлемой частью пережитого нами. Так оно и случилось. Он вошел в разряд незабываемого. И навсегда помнится, что он — *был*.



**РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА**

Приду к тебе и в памяти оставлю  
застой вещей, идущих на износ,  
спокойный сон ночного Ярославля  
и древний запах бронзовых волос.  
Все это так на правду непохоже  
и вместе с тем понятно и светло,  
как будто я упрямее и строже  
взглянул на этот мир через стекло.

И мир встает — столетье за столетьем,  
и тот художник гениален был,  
кто совершенство форм его заметил  
и первый трепет жизни ощутил.  
И был тот час, когда, от стужи хмурый,  
и грубый корм свой поднося к губе,  
и кутаясь в тепло звериной шкуры,  
он в первый раз подумал о тебе.

Он слушал ветра голос многоустый  
и видел своды первозданных скал.  
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство  
и образ твой в пещере изваял.

Пусть истукан массивен был и груб  
и походил скорей на чью-то тушу,  
но человеку был тот идол люб:  
он в каменную складку губ  
все мастерство вложил свое и душу.  
Так, впроголодь живя, кореньями питаюсь,  
он различил однажды неба цвет.  
Тогда в него навек вселилась зависть  
к той гамме красок. Он открыл секрет  
бессмертья их. И где б теперь он ни был,  
куда б ни шел, он всюду их искал.  
Так, раз вступив в соперничество с небом,  
он навсегда к нему возревновал.  
Он гальку взял и так раскрасил камень,  
такое людям бросил торжество,  
что ты сдалась, когда, припав губами  
к его руке, поверила в него.  
Вот потому ты много больше значишь,  
чем эта ночь в исходе сентября.  
Мне даже хорошо, когда ты плачешь,  
сквозь слезы о прекрасном говоря.



## ВЕСЕННЕЕ

Я шел веселый и нескладный,  
почти влюбленный, и никто  
мне не сказал в дверях парадных,  
что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,  
а от слободки, по низам,  
шел первый дождь,  
он бился в стекла,  
гремел в ушах,  
слепил глаза,  
летел,  
был слеп наполовину,  
почти прямой. И вместе с ним  
вступала боль сквозная в спину  
недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,  
и лишь потом на всех углах  
в разбивку бабы торговали,  
сбывая радость второпях.  
Ту радость трогали и мяли,  
просили взять,  
вдыхали в нос,  
на грудь прикладывали,  
брали,  
поштучно,  
оптом  
и вразнос.  
Ее вносили к нам в квартиру,  
как лампу, ставили на стол,—  
лишь я один, должно быть, в мире  
спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,  
меня не трогали цветы,—  
я думал о бульварах, где бы  
мне встретилась случайно ты,

с которой я лишь понаслышке,  
по первой памяти знаком —  
дорогой, тронутой снежком,  
носил твои из школы книжки....

Откликнись, что ли?  
Только ветер  
да дождь, идущий по прямой...  
А надо вспомнить —  
мы лишь дети,  
которых снова ждут домой,  
где чай остыл,  
черствеет булка...  
Так снова жизнь приходит к нам  
последней партой,  
переулком,  
где мы стояли по часам...  
Так я иду, прямой, просторный,  
а где-то сзади, невпопад,  
проходит детство, и валторны  
словами песни говорят.

Мир только в детстве первозданен,  
когда, себя не видя в нем,  
мы бредим морем, поездами,  
раскрытым настезь в сад окном,  
чужою радостью, досадой,  
зеленым льдом балтийских скал  
и чьим-то слишком белым садом,  
где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,  
нам снова хочется домой,  
в тот мир простой, как лист тетрадный,  
где я прошел, большой, нескладный  
и удивительно прямой.



## АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,  
просторный август, бабочку на раме  
и сон в саду, где падает трава  
к моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве желтеющей у вишен,  
у низких яблонь, где-то у воды,  
смотреть в листву прозрачную  
и слышать,  
как рядом глухо падают плоды.  
Не потому ль, что тени не хватало,  
казалось мне, вселенная мала?  
Движения замедленны и вялы,  
во рту иссохло. Губы как зола.  
Куда девать сгорающее тело?  
Ближайший омут светел и глубок.  
Пока трава на солнце не сгорела,  
войти в него всем телом до предела  
и ощутить подошвами песок!  
И в первый раз почувствовать так близко  
прохладное спасительное дно —  
вот так, храня стремление одно,  
вползают в землю щупальцами корни,  
питая щедро алчные плоды  
(а жизнь идет!), — все глубже и упорней  
стремление пробиться до воды,  
до тех границ соседнего оврага,  
где в изобилие, с запахами вин,  
как древний сок, живительная влага  
ключами бьет из почвенных глубин.  
Полдневный зной под яблонями тает  
на сизых листьях теплой лебеды.  
И слышу я, как мир произрастает  
из первозданной матери — воды.

\* \* \*

Когда умру, ты отошли  
письмо моей последней тетке,  
зипун нестираный, обмотки  
и горсть той северной земли,  
в которой я усну навеки,  
метаясь, жертвуя, любя  
все то, что в каждом человеке  
напоминало мне тебя.  
Ну, а пока мы не в уроне  
и оба молоды пока,  
ты протяни мне на ладони  
горсть самосада-табака.

1937



## ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Страницы дневника двадцатилетней давности, вырванные из студенческих тетрадей листки, столбцы старых стенгазет и забытых многотиражек сохранили для нас стихотворения молодых поэтов, погибших на великой войне.

Они были примерно сверстниками, родились на рубеже гражданской войны и погибли на фронтах войны Отечественной. Двадцать — двадцать пять лет. Именно тех лет, когда страна, преодолевая вековечную отсталость, наливалась индустриальной мощью, когда трактора, распахав межи, потащили деревню из трясины нищеты и бескультурья. Трудное, сложное время, исполненное больших надежд и неостывающей романтики.

Приобщение к жизни начиналось с первых классов единой трудовой школы. Октябрята пели: «Братишка наш Буденный...» В призывах пионерского горна слышались переливы кавалерийского рожка. При приеме в комсомол спрашивали имена героев Триполья, цифры МТС и новостроек первой пятилетки.

Ранние стихи были естественным отзвуком событий, будораживших мальчишеское воображение. Даже не отзвуком, а формой непосредственного участия в этих событиях. Молодые поэты, начинавшие в предвоенные годы, входили в жизнь, в литературу с ощущением своей неотделимости от страны с ее тревожной и величественной судьбой, от мира, охваченного предвоенным напряжением, от земли со всем ее богатством красок, запахов, звуков. Они были гражданственны с юных лет, гражданственны по духовному складу, внутреннему побуждению. Возможно, поэтому некоторые из них, судя по сохранившимся работам, отдали меньшую дань формальным поискам, чем начинающие поэты других поколений. Им в общем-то было не до того. Не исключено, что подобные поиски начались бы позже, когда поэтическая зре-

лость потребовала бы большего интонационного и ритмического разнообразия.

Однако об этом, как и о многом другом в их творчестве, можно лишь гадать...

Но прежде всего не о предположениях, а о реальном — созданном, написанном, дошедшем до нас не реликвиями, а трепетными стихотворными строками. Николай Майоров, Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Георгий Суворов, Арон Копштейн, Николай Отрада и их сверстники — товарищи по перу — были поэтами, одержимо увлеченными своим временем, делами, его знаменовавшими. И писали об этом времени с упоением романтиков, молодым энтузиазмом создателей и бойцов.

Душевная непосредственность еще не всегда отливалась в индивидуальный образный строй. Часто она пользовалась близкой ей революционно-романтической поэтикой 20—30-х годов.

Но здесь не только преемственность поэтической образности. Стремление к самостоятельности открытия мира вовсе не означало разрыв с традицией. Молодые поэты меньше всего были иванами, не помнящими родства. Сознание своего происхождения, своей идейно-поэтической родословной никогда им не изменяло.

Помнишь — с детства —  
рисунок:  
железные пути  
человек сшибает  
с земшара грудью! —

писал Михаил Кульчицкий в «Самом таком». Вместе с этим с детства памятным плакатом пришла неистребимая интернационалистская вера.

Только советская нация будет!  
И только советской расы люди!

В категоричности такой формулы есть некоторая наивность, свойственная в ка-



кой-то мере М. Кульчицкому и его поэтическим сверстникам. Особенно, когда они предрекали будущее. Беда ли это? Советская поэзия от века дышала предощущением мировой революции, всемирной республики Советов. И именно эта ее устремленность больше всего отвечала юношеским мечтам, духовным порывам поэтов. Хотя история предложила иные формы сложных революционных процессов, пламенные, благородные упования Кульчицкого и его товарищей нам дороги и поныне.

Широта взгляда на мир, на людей предохраняла молодую поэзию от мелко-травчатости, стилизаторских подделок и позерства. О повседневных событиях и о грядущих космических рейсах, о любви и о мужском товариществе, о первой траве и о весеннем дожде они писали с таким пристрастием и темпераментом, что иные строки не утратили своего свежего звучания и в наши дни.

«Самое страшное в мире — это быть успокоенным», — писал тот же Михаил Кульчицкий.

Молодые поэты конца 30-х годов, которым посвящены настоящие заметки, не теряли цели, не мельчили ее. Поэтому их лирика лишена камерности, а общественная поэзия, как правило, свободна от риторики. Они утверждали богатство жизни, счастливо сознавая себя частью ее.

Разумеется, они испытывали литературные влияния. Не требуется большой проницательности, чтобы обнаружить строки и рифмы, навеянные Маяковским, Тихоновым, Багрицким, Асеевым, Сельвинским.

Но было довольно широко распространено направление в искусстве тех лет, которое, казалось бы, могло воздействовать на молодых жизнелюбивых поэтов. Я имею в виду стихотворения и песни, условно названные Юлиусом Фучиком в одном из писем «Спасибо, сердце!». Драматургию подобного рода олицетворял молодой человек в белых брюках с теннисной ракеткой. Не отягощенная мыслями бодрость, легкое подпрыгивание, любовь не столько страстная, сколько томно-игривая... Что уберегло начинаю-

щих стихотворцев, с их еще небольшим жизненным опытом, от популярных соблазнов?

Они поняли, скорее даже — почувствовали несоответствие подобного искусства своему сложному времени. Помогли хороший вкус, внутренняя культура. Но не только это.

Молодые настойчиво искали ту точку зрения, которая дала бы широкий обзор, глубину постижения людей и явлений. Конечно, такое давалось нелегко. Бывали ошибки, неудачи, срывы. Но продолжались «вечные искания крутых путей к последней высоте». Путеводной нитью служило остро развитое чувство революционной преемственности.

Отцы мои! Я следовал за вами  
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,  
Глаза мои не обожгло слезами,  
Глаза мои обращены на всех.

(Николай Майоров)

По-юношески чуткие к напряженному дыханию времени, они старались внутренне подготовить себя к грядущим военным будням. Надвигавшаяся гроза не вызвала ни панической растерянности, ни крикливого ухарства. Приближается час жестокой проверки. Надо собраться с силами, еще раз оглянуться назад, окинуть взором все вокруг и попытаться заглянуть вперед.

Самомобилизация была настолько сильна, предощущение настолько верно, что, если бы под иными стихотворениями не стояли даты, трудно было бы определить, написаны они до или во время войны. И те и другие стихи не знают уныния, исполнены мужества, веры в родину, жажды грудью встретить опасность. Как и прежде, в мирные годы, Михаил Кульчицкий, пренебрегая расцветченной обложкой, стремится к самой сути:

Война совсем не фейерверк,  
А просто трудная работа,  
Когда, черна от пота, вверх  
Спешит по пахоте пехота.

Как и прежде, он самозабвенен, бескорыстен в своей любви к отчизне.

Не до ордена. Была бы родина  
С ежедневными Бородино.



Ставшие бойцами поэты и в мыслях не допускали малейшего разлада между своим словом и своей судьбой, малейшего разлада между своей судьбой и судьбой народа. Они не желали никому перевернуть то, что выпадет на их долю. Пусть самое тяжкое, самое страшное, пусть смерть...

Да, в стихах, написанных в предвоенные и военные годы, нередко упоминается смерть в бою. Иногда — твердо, спокойно; иногда — пафосно; иногда — с болью. Николай Майоров в стихотворении «Мы», которое можно считать программным, говорит о своем поколении, о людях, что «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», в прошедшем времени.

Так оно и случилось. Их имена начертаны на «фанерных монументах», наше сознание заключает ныне их строки в траурную рамку.

Однако менее всего здесь уместны разговоры о жертвенности и обреченности. Время, которому дано выявлять самое затаенное в стихотворных строках, не обнаружило и следов ущербной обреченности. Да и откуда ей взяться? Ее не было в здоровых, влюбленных в жизнь душах начинавших поэтов. И именно поэтому строки их звучат особенно трагично. Как трагична ранняя смерть, наступающая человека в пору его первых, многое сулящих свершений. Верившие в жизнь, они верили в необходимость драться за нее до последнего, ценою собственной гибели купить ее торжество. Такой цельности и такому самоотвержению впрямь позавидуют «мальчики иных веков»...

Одного боялись они: как бы посмертно их не «прикрасили и припудрили»,

как бы не «солгали портреты». Они люто ненавидели любую ложь, в том числе благостно возвеличивающую за гробовой доской, и мечтали остаться в памяти такими, какими были. С корявыми, порой торопливыми строками, с иногда не додуманными до конца мыслями, с не доведенными до точки спорами, со всем своим начисто нехрестоматийным обликом.

Мы не станем преувеличивать заслуги рано погибших поэтов перед отечественной литературой, не станем утверждать, будто все написанное ими совершенно, будто как раз в них время обрело лучших своих выразителей. Мы знаем, что их поэзия скорее сильна эмоциональным воссозданием действительности, чем основательным осмыслением ее. И сегодня нам очевидны причины этого — субъективные и объективные.

Да и в самом разговоре одновременно о нескольких молодых поэтах есть неизбежная доля условности, ибо никакой особой поэтической группы не существовало. А были талантливые, преданные поэзии люди, разнившиеся индивидуальным складом, стихотворными принципами, мерой таланта.

Но, свободно и открыто вынося в стихи свой мир, щедро делясь чувствами, надеждами, мечтами, они нередко выражали духовные устремления своих современников. Эта рано оборвавшаяся поэтическая летопись Отечественной войны остается не только литературным памятником уходящих в историю лет, но и живым, в наши дни не потускневшим словом. Николай Майоров не ошибся. Из того, что написал он и его товарищи по стихотворному цеху, «не все умрет, не все войдет в каталог».



